

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
«ВЕНИЧКА...»	9
ДЕВОЧКА-БУЛЬТЕРЬЕРОЧКА.....	25
А ПОТОМ.....	39
ВАРЕНЬКА.....	55
БРЫЗГИ ОБЖИГАЛИ И СОСЕДНИЕ СТРАНЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАЛИ ОБЖИГАТЬ РОССИЮ.....	70
ГЛАДИАТОР	85
СМЕРТЬ КРЫС	95
АНАЛИЗ «ФАУСТА».....	102
ШАМАН И ВЕНЕРА	115
ТЕОРИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОДИНОЧЕСТВА	131
РЕБЕНОК — МАЛЬЧИК	133
КРАСАВИЦА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОБЛЕМУ	149
БЕГЛЕЦ.....	174
ПРАМАТЕРЬ НАША ХАВВА	188
ЭПИЛЕПТОИДЫ	202
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЫСЛИ О ДЕТЯХ.....	218
ЛОЛА ВАГНЕР.....	222
МАЙЯ / ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧЕРЕПА.....	243

Предисловие

Выйти из тюрьмы было хорошо. Потому что, несмотря на возраст шестидесяти лет, это давало возможность начать новую жизнь. А ведь человека хлебом не корми — дай ему возможность начать новую жизнь.

В тюрьме я помудрел. Потолкался среди русского народа, пожил, пострадал рядом с ним, видел с ним зачастую одни сны, опростился, одним словом. Слез с пьедестала своего знания и интеллекта. Стал, как Коляны, Сережки и Сашки. На уровне страдающего тела — я как они, то неуместно строгий, то неуместно легкомысленный Russian man.

Вышел из лагеря я как-то быстро, не надеялся, а вышел. Между прочим как-то вышел. Не стремясь особо, готовый тянуть и выносить дальше. Но вышел.

И вот в конце августа я переселился в лунатический, пустой квартал старых строений, где под пыльным солнцем грелись только опасные бродячие собаки и не было в ту пору людей. Ну, как не было... В будние дни шли немногочисленные фигуры через тоннель вниз к Яузе, в завод «Манометр», но общее их количество вряд ли превышало размер бригады вохровцев, охраняющих завод. А так было пусто! Жаркий ветер пятидесятих годов прошлого века шевелил кронами пыльных деревьев, тихо осыпалась краска и штукатурка с перегревшихся старых домов. Сорные травы мощными корнями взрывали остатки когда-то асфальтированных тропинок, насекомые вольно плодились и размножались. Шуршали и пищали.

С самого начала промзона задала мне мистический тон. Разбухшие деформированные рамы окон моей квартиры поскрипывали, как суставы больного старика, форточки то не закрывались, разбухшие от погодных артритов,

то вдруг становились на размер меньше. Вечерами непроницаемая темнота опускалась на Сыры, и если бы не охранники, было бы боязно мне подъезжать к моему подъезду... Ночами шумели кронами деревья, кричали дикие птицы и поезда. Порой доносились аудио отдаленных драк, возможно, это дикие бомжи дрались за булку хлеба. И все это в пяти минутах от цивилизации, где на Садовом кольце уже был сооружен блистательный торговый центр «Атриум»!

Впрочем, со временем цивилизация медленно, но стала проглатывать Сыры. Вначале в подъезды поставили железные двери и домофоны. Проснувшись для жизни наконец, местные жители, потомки рабочих завода «Манометр», смекнули, что выгодное расположение в центре города дает им уникальный шанс стать буржуазией — «рантье», и стали сдавать внаем либо продавать свои квартиры, а сами удалялись жить в далекие спальные районы. Семизэтажка (четыре этажа были построены в 1924 году, а еще три надстроены в шестидесятые годы) заселялась иными, состоятельными, людьми. Автомобили все плотнее забивали узкую полосу дороги вдоль дома. И это уже были недешевые автомобили. Жильцы избрали пухлую высокорослую блондинку старшей по дому. И блондинка не была потомком рабочего завода «Манометр». Два дома en face от нашей семизэтажки были отремонтированы и снабжены оградами. В одном разместился банк, в другом всякого рода офисы. По ночам эти дома были освещены прожекторами, бьющими светом с их крыш. Стало слишком светло, если ранее было удручающе темно. Охранники стали дежурить у шлагбаумов. Происходил процесс «джентрификации», то есть «облагораживания» промзоны. Я наблюдал подобное когда-то вначале в Нью-Йорке, затем в Париже. И вот цивилизация стала наступать на Сыры, тесня ее призраков...

Эта книга имеет подзаголовок «Роман в промзоне», справедлив ли этот подзаголовок? Таинственные Сыры

послужили сценической площадкой и декорациями для пяти с лишним лет моей жизни. В «убитую» квартиру являлись персонажи моей жизни этих лет, ее действующие лица. Являлись и персонажи из моей прошлой жизни, то есть, в конечном счете, здесь происходила моя жизнь. Сюда приходили женщины и политики, сюда я привел впервые будущую мать моих детей. Актрису. Ну конечно, это роман, но роман современный.

«Веничка...»

Выйдя из лагеря, я поселился за Курским вокзалом, в промзоне, на Нижней Сыромятнической улице, в обширной и запущенной квартире. Рядом с заводом «Манометр» стоит семиэтажный дом. Тогда это был единственный обитаемый дом в промзоне, стиснутый речкой Яузой с одной стороны и отходящими от Курского вокзала железнодорожными путями, вознесенными на высокие эстакады, с другой. В доме жили всякие чудики. Гулял с собачкой поседевший музыкант Гера Моралес — лидер группы «Джа Дивижен», у него на концертах висел над сценой рисованный марихуанный лист, ну вы все поняли... На первом этаже, подо мной, жил майор милиции...

Всё вместе, с несколькими туннелями, с неработающими корпусами заводов, с пустырями за Яузой, место это, называемое в народе «Сыры», имело мистический вид. Здесь можно было целые дни снимать фильмы ужасов по сценариям Ганса Гейнца Эверса или Лавкрафта, ей-богу. Однажды возвращающуюся от меня рано утром девушку покусала стая собак, а в другой раз приехавшая ко мне в гости пара видела банду парней, крушивших бейсбольными битами автомобиль. В Четвертом Сыромятническом переулке, как раз в том месте, где сейчас вход в Центр современного искусства «Винзавод», ночами стояли толпой проститутки. Их привозили на двух микроавтобусах, этих бедных девок. Ну вы поняли, что было за место.

Как я попал туда? Я унаследовал квартиру (владела ею квартирная хозяйка — пожилая бывшая официантка, жена слесаря) от директора издательства «Ad Marginem» Миши Котомина. Вещей у меня после тюрьмы не осталось. Я приехал с сумкой и французским мешком «Почта Франции»

и стал жить. Меня привозили и увозили на красной «пятерке» охранники. Я строго подчинялся суровому распорядку жизни лидера радикальной (тогда еще не запрещенной) партии. Если соседи пытались познакомиться со мной, я уходил от знакомств. Звонок на двери я отрезал, на стук в дверь не отвечал. Где-то через полгода жильцы установили домофон, и я стал пользоваться домофоном строго выборочно, отвечал, только если ожидал посетителя. Девушка, встретившая меня из заключения, отвыкла от меня, пока я сидел, и постепенно отдалилась. Если я не был приглашен куда-либо, вечера я обыкновенно проводил с белой крысой, оставшейся от девушки, когда она вернулась к родителям.

Крыса откликалась на имя Крыс и была чудесным другом, веселила меня и скрашивала жизнь. Я, конечно, подумывал о том, что нужно бы обзавестись новой подружкой, но это предприятие для человека охраняемого, не покидающего дом без охраны, представлялось трудным. Трудоемким. Впрочем, я неустанно пытался, подружки появлялись, но когда ты вышел из лагеря и тебе шестьдесят лет, тебе трудно угодить.

Однажды была весна, я вернулся со скучнейшей вечеринки, устроенной одним немецким журналом в честь вступления в должность нового главного редактора. Делать там было мне нечего, толпа состояла главным образом из русских чиновников и официозных журналистов, юных девушек не было вовсе. Были крупнотелые матроны. Потому я больше обычного налегал на алкоголь. Так что, привезенный охранниками домой, я был слегка пьян и умеренно зол. С веселыми возгласами молодые парни покинули меня, чтобы отправиться к подружкам, а может быть, они выпьют, наконец... Не мне же одному... Я запер за ними двери (тогда у меня были одни двери, впоследствии я поставил еще одни) и отправился в кухню, где между старинной ванной на ножках и газовой плитой стояла клетка с крысой.

Крыс радостно повисла на прутьях, предвкушая свободу. По ритуалу я должен был ее сейчас выпустить, и после радостного путешествия по моей штанине, затем по рубашке, и на мое плечо, она спустится на пол, обегает всю квартиру, комнату за комнатой и коридор, все шестьдесят два квадратных метра...

Раздался стук в дверь.

Крыс успела выскочить в приоткрытую мной дверцу клетки и уже карабкалась по штанине моих джинсов. Я не пошел открывать дверь, я даже не сдвинулся к двери. Оперативники стучат иначе, их наглый стук не спутаешь со стуком соседки, пришедшей попросить соли. Впрочем, никакие соседки меня давно не беспокоят. Боятся иметь дело...

Стук повторился. Такой сдержанный по характеру стук. Не оперативный. Можно было бы и открыть. Но мне запрещено открывать двери, если я нахожусь один в помещении. Я пошел с крысой на плече в большую комнату, задернул шторы и включил телевизор. Шварценеггер металлическим весом топтал коридор мрачного подземелья, ловя в инфракрасный прицел бывшего полицейского, ставшего преступником. Там, за одиннадцатью метрами коридора от меня, все еще ненастойчиво стучали в дверь...

Стук оборвался. Крыс весело гоняла, хвост параллельно полу, вдоль стен пустой большой комнаты. Я сидел на королевского размера кровати, она у меня стояла в центре комнаты, и наблюдал за действиями уже обгоревшего металлического Шварца. Внезапно о стекло ударился, видимо, камень, а может, стреляли из пневматики. Нет, камешек... Еще один. Я вздохнул и встал. Что-то происходило.

Я осторожно прошел в свой кабинет (ничего особенного: стол, книжные полки) и, не зажигая света, чуть отодвинул штору. Посмотрел. В голых деревьях внизу стоял одинокий мужчина. Высокая лампа над подъездом позволяла увидеть,

что это был немолодой мужчина в темной куртке и кепке. Поклонник моего литературного таланта? Сумасшедший, ищущий побеседовать с VIP-персоной на предмет спасения человечества? Отец нацбола, попавшего в тюрьму, пришедший переломать мне нос? Все варианты были для меня неприемлемы. Смущало меня и время действия. Было около полуночи, хотя еще не полночь.

Набегавшись, Крыс нашла меня в темной комнате и вскарабкалась опять на любимое свое место, на мое плечо. Бросание камешков прекратилось. Пошел дождь, стало слышно, как он стучит о жестяные подоконники...

Стук в дверь... С Крыс на плече я отправился к двери.

— Кто там, чего надо?

— Эдуард, я ваш родственник, извините за поздний час, можно войти?

Родственников у меня немного, но появляются. Дочь одной из моих двоюродных сестер живет в Магадане. Она ветеринарный врач. И даже лечила как-то собачку губернатора Цветкова, которого потом убили в Москве на Арбате.

— Назовите себя.

— Меня зовут Юрий. Я сын вашего отца.

Я открыл ему дверь, отпер два замка и задвижку отодвинул, продолжая осознавать, что он такое сказал. А сказал он ни много ни мало, что он мой брат. Между тем я вырос единственным ребенком в семье.

— Ради бога, извините, что я так вот, ночью. Но у меня завтра поезд. — Он снял кепку и оказался лысым мужчиной, седая растительность сохранилась лишь над ушами и на затылке. Морщинистое белое лицо. И тут я его идентифицировал: он был на вечеринке немецкого журнала. Стоял в стороне и поглядывал на меня. Я, впрочем, привык, что меня разглядывают, на улицах даже бывает пальцем тычут, в бока друг друга толкают локтями: «Смотри, вон кто идет...».

— Вы откуда сами, Юрий, будете? Зачем выследили меня?

— Город Глазов, Удмуртия. Вам ничего город Глазов не говорит?

— Город Глазов мне говорит. Пойдемте в мой кабинет. Я включил верхний свет.

— Снимите вашу куртку. Садитесь.

Он снял джинсовую куртку со множеством пуговиц и прострочек, и заклепок. Ее, такую, можно носить и зимой. Такие любят провинциалы. Куртка у него была мокрая. Интересно, что дочь моей двоюродной сестры из Магадана также всегда одета в джинсу: пальто ее с разводами и вшитыми камнями помню. Она посещала меня несколько раз, приезжая в Москву на конгресс ветеринаров. Он сел в кресло, доставшееся мне в наследство от одной политической организации. И стал улыбаться.

— У вас крыса, — сказал он.

— А как вы думали... Конечно, крыса, у такого как я. Так вы Вениаминович? — Я сел в другое, точно такое же кресло.

— Да. Юрий Вениаминович...

— Надо же!.. Я думал, это всего лишь семейная легенда, ревнивые фантазии моей юной матери. Фантазии о сопернице в марийской тайге.

— В удмуртской, — поправил он.

— Мать говорила «в марийской». Он там дезертиров ловил. С мандатом, лично подписанным Берией.

— Все правильно, только в удмуртской тайге. Молодым лейтенантом.

— Мать рассказывала, что считала уже, что потеряла его. Что у него там другая семья была, в марийских снегах, в 1943-м. Тотчас после моего рождения.

— Да, это так все и было, только в удмуртских снегах. Рассказать вам все по порядку? А потом вы мне расскажете о нем...

— Рассказать... Может, хотите чаю?

— Нет, чаю не хочу. Ну вот, я значит вас на год младше, 1944 года рождения. И вашего года рождения, и моего, как вы знаете, очень мало в России родилось. Поколение не получилось, да и на полпоколения не наберется, потому что подавляющее большинство мужчин находились тогда вдали от женщин, на фронтах. На фронтах женщины бывали, но в ограниченном количестве и такого характера женщины, что не для деторождения предназначены. Наш с вами отец, Вениамин Иванович, на фронты не попал вследствие счастливого для него стечения обстоятельств. Призвался он в 1937-м, попал в особый полк ОГПУ и буквально накануне войны остался служить на сверхсрочную службу. Когда началась война, то НКВД своих людей попусту не тратил, берегли их. Брат отца, младший, Юрий, в честь его меня и назвали, был призван в дикой спешке. Их, не переодев даже, бросили на фронт под Псковом, там он и погиб, даже тела не собрали. Пропал без вести... Да вы, наверное, знаете все эти подробности биографии отца не хуже чем я!

— Знаю.

— Отец приехал в Глазов в 1943-м. Дезертирство было распространенным. Прятались в лесах, варили там свои каши, сбивались в банды и были опасны для местного населения. Мать говорит, он был очень красивый... А как на гитаре играл!..

— Сейчас под себя ходит. Мать таскала его в туалет, порвала себе позвоночник, теперь сажает в стул с дырой в сиденье, внизу ведро. Туда и ходит, прямо у постели. Вот что вытворяет время... — промычал я. Отцу восемьдесят шесть, и он уже год как не встает с постели. Он ничем не болен. Ему надоело жить, и только. Он собрался умирать.

— Я так и не решился к нему поехать, — сказал он. — Если честно признаться, то родственные чувства охватили

меня сравнительно недавно. Пришли вместе со старостью. Так, видимо, современный человек устроен.

— Меня, после того как освободился из лагеря, в Украину не пустили в прошлом году. Задержали в КПП под названием Гоптівка, долго думали, что со мной делать. Наконец, ссылаясь на некие постановления их службы Безпеки, что есть эквивалент нашего ФСБ, запретили мне въезд в Украину до 25 липня 2008 года. Так что я отца в его нынешнем, жалком виде не видел, слава богу. Как зовут вашу маму?

— Софья. София.

— Это что, удмуртское имя?

— Да нет, нормальное, русское. Но она, да, удмуртка.

— Она жива?

— Жива. Живет с нами, в моей семье. Она 1921 года рождения.

— Того же года, что и моя мать.

Мы помолчали.

— А братья и сестры у вас есть, Юрий?

— Есть. Два сводных брата. У мамы от другого отца. Он уже умер.

Мы опять замолчали.

— Я читал ваши книги о вашей семье. «У нас была великая эпоха» и «Подростка» читал. В «Великой эпохе» наш отец мне понравился. Прочел я эти ваши книги сравнительно недавно. И маме давал читать.

— Ну и как она реагировала?

— Да сидела, молчала и улыбалась... Потом стала вспоминать, как он приехал зимой 1943 года в длиннополой шинели, худющий и молодой. Привезли его в санях красноармейцы, и среди вещей мама отметила гитару. Собственно, вещей и не было особых. Худенький вещмешок, полевая сумка, пистолет на поясе. У нас полдома пустые стояли, и его определили к нам, чтоб не в казарме со всеми. Следователь все-таки. Особист. С мандатом.

— Это был, я понял, частный дом ваших деда и бабки?

— Ну да, Глазов и сейчас город не большой, стотысячник, а шестьдесят лет назад и вовсе был сонным, провинциальным. Частные дома в основном. У деда был двухэтажный дом с кирпичным низом. Отца наверх определили в комнату моих дядьев, они тогда на фронте были все три. Одного уже убить успели. Вот отец там и расположился. Правда, вначале, мать рассказывала, он и ночевать не приходил. Ушел с отрядом в тайгу. Через неделю вернулись. Стали дела на дезертиров оформлять. Тогда, правда, все проще было. По законам военного времени дезертиры подлежали расстрелу. В ряде случаев следователи и судьями становились. Военная выездная коллегия или как там...

— Так отец следователем там работал? Или членом судебной тройки?

— Из того, что мама говорит, получается и то и то. Двойные обязанности исполнял. Точнее говоря, и тройные исполнял.

— Что вы имеете в виду?

— Людей было немного. Фронт обескровил страну. С дезертирами некогда было законность соблюдать. Ставили к стенке в старом молокозаводе. И в расход... Сами судили, сами приговор приводили в исполнение.

Мы помолчали.

— Так что, и отец ставил?

— Судя по вашим книгам, вас не должен смутить такой эпизод в биографии отца... Мать говорит, что да, он их стрелял... Мучился, правда, они же все его возраста, чуть моложе. Ему двадцать пять было. Светленькие такие парни. Удмурты же к угро-финнам принадлежат. Среди них много блондинов. Я вот тоже был, пока не поседел.

— Как мучился?..

— Ну что, не спал, засыпал, во сне стонал. Ходил по комнате.

— Вы считаете, что беленьких стрелять тяжелее, чем брюнетов?

— Да. Беленький как мальчик, мальчика напоминает, что-то такое. В мальчиков же нельзя... стрелять нельзя... Жалко...

— Можем ли мы его осуждать?

— Можем, думаю. — Он замолчал... — Только что толку, все эти сцены ведь в Книге Неба навечно записаны. Там, где Зло, в той части Книги.

— Это что, Книга Неба? Традиционные удмуртские верования?

— Да. Инмар, Бог Неба, хранитель Книги Неба, время от времени перечитывает ее. Листает.

— Вы что, в этом разбираетесь?

— Немного. Историю преподаю. В частном порядке интересуюсь традиционными удмуртскими верованиями. У нас сорок богов и божеств. Дед мой весь этот пантеон знал. А прадед и вовсе был «восясь», то есть главный жрец. Вениамин называл маму «шаманочкой». Потому, что она из рода, где были несколько «туно» и один «восясь». «Туно» — это знахарь, шаман.

— У вас с собой фотографии мамы нет?

Он покачал головой.

— Нет. Если бы знал, что вас встречу, захватил бы.

— А «шаманочка» чем в жизни занималась? И в тот день, когда Вениамин вылез из саней в длинной шинели, она кем была, что делала? Ей было двадцать два...

— Детей учила в начальной школе. После педагогического техникума учила детей.

— А как она выглядела?

— Косу носила одну, толстую и длинную белую косу. На всех фотографиях сразу замечаешь эту особенную косу. Красивая была. Блондинка, но ресницы густые, черные. Глаза — как лед.

— У моей мамы тоже серые. И даже сейчас, у старухи, такие пронзительные, как у волчицы. Ее в доме «волчицей» называют за глаза... соседи... Отец был бабником? Как вы думаете, Юрий?

— Вам виднее, я ведь его жизни не знаю. Я и родился без него, вне брака.

— К тому времени, когда я обрел сознание, он, вроде, не проявлял уже своих, как бы сказать, «наклонностей», что ли. Но мать отчего-то страдала, я помню. Они по ночам иногда препирались. Не ругались, но она его отчитывала, а он односложно отвечал. Я, кстати, тоже вне брака родился, они только в 1951 году расписались в ЗАГСе.

— Видимо, был бабником. Две семьи в возрасте двадцати пяти лет не так уж обычно... Он же у нас целый год пробыл, с мамкой у всех на виду жил. Ей нелегко было. Он же чужой, приехал, наших по лесам ловил, судил и расстреливал. Там сцены бывали порой, душераздирающие, мать рассказывала. Однажды прибрела мать дезертира, откуда-то узнала, где он живет, дождалась и к сапогам его бух... Заревела. «Пощади, родной, сына! Ты сам мальчик худенький, совсем мальчик, не казни моего мальчика...»

— А отец что?

— А что он мог сделать? Помиловать не мог. Ему и не позволили бы. Он и в тройке старшим не был. С ним капитан был из местного НКВД, старше по званию. Поднял ее. «Уходите, говорит, а то и вас арестуют».

— А мандат, подписанный Берией?

— Мандат значил много, но решала судьбу тройка. А судьба была в тот год одна — расстрел. К тому же тот «мальчик», за которого мать его к сапогам нашего отца падала, был взят в результате боя с дезертирами. Они обороняли свой схрон, стреляли. Какая уж тут пощада... За этот бой отец получил свой первый орден Красной Звезды...

— А есть второй орден? Я знаю только об одном.

— Есть второй. К концу года был награжден второй раз. Вот за что именно, не скажу. Но тоже за борьбу с дезертирами наверняка. Потому что он еще в Глазове находился, а никакой другой деятельности, кроме борьбы с дезертирами, он в Удмуртии не вел.

— Значит, за второй схрон получил. Видимо...

Дождь стучал настырный, потому что была сильная оттепель, какие бывают в марте в Москве. Мы сидели, два седых человека, обсуждая деяния двадцатипятилетнего нашего отца, который обоим нам дал жизнь, заронив свое семя в двух разных женщин.

— Вы представляете, Юрий, тайга, темные деревья, снег, рассвета еще нет. В предрассветных сумерках движутся цепью среди деревьев красноармейцы в длинных шинелях. Подбираются ближе к схрону. Из землянки чуть-чуть еще идет дым от вечерних дров, накануне вечером дезертиры сытно накормили печку, чтоб спать было тепло. Там они лежат, прикрывшись полушубками, белесые и конопатые крестьянские угро-финские парни. Темноволосых немного. Распарились в сырой духоте землянки. А цепь все теснее смыкается вокруг землянки. Наконец наш отец, с пистолетом в руке, вместе с парой рослых красноармейцев вышибают дверь землянки своими телами. Врываются в сопящие теплые сумерки. Навстречу им стреляют из обрезов. Красноармеец падает. Наш отец даже не ранен... Красноармейцы выволакивают дезертиров на снег. Дезертиры в исподнем. Кто в белом солдатском белье, кто в крестьянском. Руки заломаны... Руки подняты. Светает. Они стоят босые на снегу и дрожат все от холода. Представляете, Юрий?..

— У вас писательское сильное воображение. Мне даже стало холодно. — Юрий поежился.

— Воображение тут ни при чем. Меня самого именно так арестовывали. В горах на Алтае — в снегу, в избушке. Нас было восемь человек в избушке. Был смутный рассвет.

Жарко натоплено. Один из нас встал и вышел отлить. Сонный заметил стягивающуюся к избушке цепь стрелков, сводный отряд ФСБ. Вбежал, кричит, что там военных целый лес. Их таки оказалось свыше семидесяти бойцов. Ворвались с дикими криками. Все кричали разное: «Лежать!», «К стене!», «Руки за головы!», «Лежать, суки!», «Встать, суки!» Ясно, что исполнить все их приказы сразу было невозможно. Мы остались лежать, кто где был. Потом нас стали выволакивать по одному. Босиком. Кто спал в носках, оказался в лучшем положении, потому что нас долго продержали на снегу, как мы были, босиком, и в исподнем с поднятыми руками. Потом позволили одеться и отвели в баню. Там мы еще долго сидели, нас выводили допрашивать.

— Страшно было?

— Страшно. Мы поначалу решили, что это казахская национальная безопасность с той стороны границы. Думали, что они нас всех поубивают где-нибудь на краю ущелья. Медведи, волки и птицы довершат остальное. Но это оказались «наши». Еще видео сняли, как мы стоим, выгнанные на снег, руки за головами, в исподнем, босиком. Для истории останется. Так что очень хорошо представляю, что чувствовали дезертиры, когда наш отец туда в их сонный схрон ввалился с красноармейцами.

— Получается, что вы в тот момент с отцом оказались как бы по разные стороны фронта? Отец наш был всегда на стороне государства... А вы побывали в шкуре дезертиров.

— Это все так, но в Алтайских горах меня арестовали, чтобы обвинить в подготовке захвата и отделения от соседнего Казахстана Восточно-Казахстанской области. В попытке создания сепаратистского государства с последующей целью присоединения его к России. Таким образом, наш отец, если бы он был в сводном отряде ФСБ в то утро, не был бы на стороне России. В то время, как в 1943-м, он

был на правильной стороне... В 2001-м я был на стороне России.

Мы замолчали.

— Может, вина хотите? Водки нет...

— Да я не пью вовсе.

— Что, и на дни рождения не пьете, и на Новый год? И не курите, наверное?

— И не курю. Когда выпил однажды две рюмки, болел потом.

— Вы как он. Не пил и не курил всю жизнь. Непьющие и некурящие чекисты, наверное, были самыми страшными. Этакие аскеты-Кашеи.

— Я не злой человек, — улыбнулся он. — А что, он так и не пьет до сих пор?

— Какой пить, в лежку лежит, ссохся весь, мать говорит, голова ссохлась, как старый орех. Еле говорит. Мать с ужасом призналась мне на той неделе по телефону, что адски устала, что ждет, чтобы он умер. Что ей унижительно видеть его, когда-то красивого, обаятельного, беспомощно лежащего на полу, измазанного дерьмом... Это она, с которой вместе прожили шестьдесят два года, ждет его смерти!

— С моей мамкой он прожил год, — сказал Юрий.

— Вот как печален, некрасив, и даже страшен конец таких вот героев, как наш батька. Интересно, что он о своих орденах Красной Звезды молчал, может, стеснялся, что они не на фронте получены.

— А почему у отца карьеры в армии не получилось? Насколько я знаю, он ведь проходил в старших лейтенантах чуть ли не лет двадцать. И только перед уходом из армии звание капитана получил, так ведь? Как так, ведь он же умница был...

— На эту тему отец никогда не высказывался, как и на многие другие темы. Я подозреваю, что он, пусть он и был младшим офицером, принадлежал к какой-то

подавленной и расстрелянной чекистской группировке. Его оставили на свободе и живым только потому, что он был простой исполнитель. Знаете, Юрий, когда стали появляться машинные копии Солженицына, у меня, помню, состоялся с отцом разговор, году в 1968-м, по-моему, это случилось. Я приехал из Москвы, где провел год, и стал ему выкладывать свои новоприобретенные знания о ГУЛАГе, о репрессиях 1930-х годов. Он мне вдруг сказал: «Я читал вашего Солженицына! Что он знает, он ничего не знает! Я видел такое, что страхи, которыми он страшит, — детский лепет... Вот если бы я написал...» И отец замолчал. Больше никогда я от него на эту тему ничего не слышал. Я думаю, он участвовал в жутких вещах, может быть, даже почернее, чем охота на дезертиров в удмуртской тайге и их ликвидация...

Мы замолчали. Словно нам потребовалась передышка, чтобы зарядить свои внутренние аккумуляторы. Наш общий отец нас с ним измотал. Сидели и молчали. Моя крыса внимательно слушала тишину с моего плеча.

— В «Подростке» у вас есть сцена, где вы...

— Давай на «ты», наверное, перейдем, брат. А то как-то странно мы стали звучать.

— Давай, брат. В «Подростке» есть сцена, где герой, ну то есть ты, едет встречать отца на вокзал и отыскивает его в тупике на задних путях. Где отец возглавляет конвоиров, загоняющих заключенных из вагон-зэка в автозаки. Это правда было или придумано?

— Правда было. В пятидесятые годы отец служил в конвойных войсках. Уезжал в далекие командировки в Сибирь. От меня, впрочем, как и от соседей, скрывали, где он работает. Я случайно набрел на эту сцену. До сих пор ярко помню. Зэков мне стало жалко мгновенно. Может, я предчувствовал, что однажды сам стану заключенным.

Он посмотрел на часы.

— Оставайтесь у меня. Переночуете. Метро давно закрыли, а такси в моей промзоне поймать непросто.

— Не могу, меня приятель в машине ждет. Мы ведь за вами ехали.

— Так вы меня после презентации выследили?

— Да, — скромно потупился он.

— Недаром вы сын чекиста.

— Мы же уже на «ты». Ты тоже сын чекиста.

— А откуда ты узнал, что я буду на презентации?

— Есть такая сеть, интернет. Там написали, что среди других гостей ожидаешься ты. Михаил мне показал сообщение. Мы поехали. Пройти было нетрудно.

— Михаил — это твой приятель? Который в машине?

— Да, он сюда лет двадцать назад переехал. Из Глазова.

— Позови его. Чего он там сидит в темноте в машине.

— Да не стоит, мы уже поедem. У меня завтра рано поезд, — он встал.

— Ну как хотите, Юрий.

Я тоже встал.

Я дал ему свою свежеизготовленную простую визитную карточку, лаконично несшую на себе только имя-фамилию-номер мобильного телефона. Он, подойдя к моему письменному столу, записал мне номер его глазовского телефона. На столе сидела крыса. Он сказал ей, улыбнувшись:

— До свиданья, Крыс!

Крыса поняла и пискнула. И поднялась на задние лапы в знак дружелюбия.

Юрий одел куртку. Мы пошли к дверям, я впереди. Я отпер все замки, и он переступил порог. Обернулся.

— Вы его любите, Эдуард?

— Люблю ли я моего отца? Я люблю моего отца, кого бы он там ни стрелял, да хоть гугенотов, будь он католик во время Варфоломеевской резни. Это же мой отец, юноша,

который создал меня из любви к юной девушке. Вас он создал от любви к «шаманочке».

— Как ваша мама называла отца?

— «Веничка».

— Моя мама тоже называла его «Веничка».

Наш отец умер в самом конце марта. Через неделю после ночного визита ко мне брата... Юрий никогда не позвонил и не появился. Возможно, мой брат тоже умер. Все ведь умирают. Без исключения.

Девочка-бультерьерочка

Она потолстела. Когда я, оторвавшись от ликующей толпы, сел в старенький «Мерседес» адвоката, она уже сидела там. Нацболы бушевали за стеклами, довольные. Я, их лидер, дешево отделался — оказался на свободе всего через два с половиной года. Мог отхватить пятнадцать. За стеклами «мерса» на ликующих нацболов обильно лил дождь.

— Ну что, ты со мной или не со мной? — спросил я, повернувшись к ней.

— С тобой, — сказала она ватным голосом. Я прижал ее к себе. На ней была шляпка из бархата — такие бывают на незамысловатых куклах. Подбородок у нее округлился. Румянец со щек исчез, но щеки были полными. И переходили в полную шею. Когда меня посадили, ей было восемнадцать. Сидящей со мной в «мерсе» был двадцать один. Старая.

И мы стали жить. Вначале несколько суток провели на надувной постели редактора газеты «Лимонка», где-то в Кунцеве. Далее перебрались в буржуазную квартиру известного политолога-аналитика на Космодамианской набережной. Там наличествовали две спальни, холл с зеркальной стеной, два санузла, телекамера, наблюдающая входную дверь и лифт, и многие другие прелести, включая контрастный душ и отличную библиотеку. Ей там понравилось. «Прикольно!» — сказала она. Она было привезла туда своего ужасного, белую свинью, бультерьера, но даже очень гостеприимный хозяин, однажды появившись, заворчал, и бультерьер был возвращен в квартиру ее родителей, где она проживала последние годы, пока меня жевало правосудие. О бультерьере потом, вначале о ней, бультерьерочке.

Она всегда была такой себе девочкой с окраины, злой и немного нелепой. Маленького роста, блондинка,

с пристрастием к проклятым российским панк-типажам, ну знаете, мертвенькая Янка Дягилева, еще живой тогда, но крепко качавшийся Егорушка Летов... Позднее ее бросило к Мэрлину Мэнсону. Перед самым моим арестом в нашей квартире, в прихожей, она, помню, повесила бесовский портрет его с разными глазами. Когда приходившие ко мне политики (один раз был даже министр КГБ Приднестровской республики) удивленно таращили глаза на безумный портрет, я обычно считал нужным отмежеваться от него. «О, знаете, это моя дочь повесила! У подростков нынче странные вкусы!» Политики разглаживали лица. Понимающе улыбались...

У нас с ней была разница в тридцать девять лет. Когда мы познакомились, ей было шестнадцать, а мне уже пятьдесят пять. Однако на самом деле нас разделяло не такое уж большое расстояние. Общество несправедливо к таким парам, какой были мы с ней. На самом деле между нами лежало совсем небольшое количество биологических лет, которые не соответствуют никогда календарным. Она была маленькая женщина по всем ее повадкам, с обворожительным, порой злобным, порой ангельским личиком, со взрывным характером. Однажды она полоснула меня по руке лезвием, которым до этого уютненько вырезала из журналов коллажи, сидя в уголке, за столиком, под лампой. За что-то обиделась, вскочила и полоснула. И снова уселась в уголок, вся домашняя, в носочках... Своих сверстников она презирала, себя высоко ценила, и когда мы столкнулись в жизни, она, видимо, решила, что я ее достоин. Что там в точности думала эта маленькая бестия, я не могу знать, но до тюрьмы мы с ней отлично ладили, она порой поучала меня, и жили мы в общем весело. Тогда я еще не считался государством настолько опасным, чтобы преследовать меня круглосуточно, потому мы часто нарушали правила безопасности, выходили ночью в близлежащий двадцатичетырехчасовой

магазин на углу Гагаринского, я покупал себе пиво, а ей — мороженое, и мы бродили, обнявшись, по арбатским переулкам, я тогда жил у театра Вахтангова. Оглядываясь назад, я вижу, что был тогда очень счастливым человеком, думаю, подавляющее большинство мужчин планеты могли бы мне позавидовать. Ведь я, когда хотел, задираю ей юбочку, этой малышке...

Но вернусь-ка я к хронологии событий и стану излагать мою жизнь с ней после тюрьмы. В конце августа того же года я поселился в Сырах, в промзоне между Курским вокзалом и речкой Яузой, вблизи завода «Манометр». Место было тогда пустынное и пейзажно напоминало российский рабочий городок образца, скажем, 1953 года, скажем, сразу после смерти Сталина. Дом, в котором я поселился, был построен в 1924 году для рабочих завода «Манометр», потолки были высокие, комнаты большие, всего в квартире насчитывалось шестьдесят два квадратных метра. Второй этаж. Тенистый двор, детская и баскетбольная площадки бок о бок. Прямо оазис в разрушающейся промзоне. Квартира была, правда, что называется, «убитая». И очень.

Вначале я с энтузиазмом пытался изменить квартиру. В кухне висел расквашенный утечками воды сверху пятнистый потолок, и он раздражал особенно. Мои охранники собрались по моему зову, и мы как могли сбили этот ужасный потолок, побелили кухню. Михаил выкрасил в черный цвет старую ванну на львиных лапах (ванна стояла в кухне! в 1924 году рабочие ходили в бани, потому ваннные комнаты не были предусмотрены), сделал черной вентиляционную трубу под потолком кухни и дверцы встроенного под подоконником шкафа (холодильник образца 1924 года!). Мы сорвали несколько рядов проводов в коридоре, служивших бельевыми веревками многодетной семье хозяйки, разобрали убогую антресоль над входной дверью. Туалет с ужасным ржавым бачком трогать не стали. Бедный вульгарный

линолеум в цветочках покрывал пол коридора. Мы пока оставили его в покое. Две вместительные комнаты имели щелястые деревянные полы, крашенные красным. Из меньшей я сделал себе кабинет, в бóльшую поставил купленную за пятьсот рублей двухметровой ширины кровать. Ровно посередине. Выглядела комната таинственно.

Бультерьерочка приехала с бультерьером.

Ей не понравилась квартира. Она предпочитала ту квартиру, куда нас пустил политолог. А мне не понравился бультерьер. Белый, с красными глазами, похожий на мускулистую свинью. Молчаливый, он всегда норовил встать у меня сзади. И молчал там, чего-то выжидая. Когда существо с могучими клыками стоит за твоей спиной, ты невольно начинаешь испытывать опасения за свою жизнь.

Надо сказать, что у нее уже были бультерьеры. Когда ты метр с кепкой ростом, белокожая блондиночка, живешь в спальном районе, то, видимо, такой хочется укрепить себя в жизни подпоркой. У нее был брат, на четыре года старше, но от него подпорки и безопасности было мало, никакой, он быстро стал компьютерным программистом, при этом все время терял девушек и переживал по этому поводу трагедии. С семьей в целом она также плохо ладила. Отец ее был часовщик, и очень неплохой, он одним из первых в девяностые годы стал мелким бизнесменом: открыл свою палатку и стал починять гражданам часы. Быстро научил своему ремеслу молодого подмастерья, открыл еще одну палатку и посадил туда подмастерья. Ее отцу умилялись бы Гайдар и Немцов, Хакамада бы в нем души не чаяла. До тех пор пока не узнала бы, что ее отец был, к сожалению, запойный пьяница, и когда запивал, то поил весь квартал в своем спальном районе. Никакого накопления капитала, таким образом, не происходило и происходить не могло. Отец не успокаивался, пока не пропивал все заработанное,

в доме не было еды, и мать с трудом отстаивала простыни и одеяла. Мать у нее работала на овощной базе не то инспектором, не то контролером. Семья жила в ритме запоев отца, и такая семья не могла ее защитить, хрупкую, белокожую и маленькую. Потому она обратилась к бойцовским собакам и предпочитала бультерьеров. А потом она обратилась ко мне.

Когда мы познакомились, у нее уже был один, точнее, одна бракованная самочка. Я уже с трудом вспоминаю, что именно у нее было бракованное, то ли окрас не тот, то ли сосцов было больше, чем нужно, или меньше, чем нужно. А может быть, самочка была не совсем «буль». На заре нашей любви она приезжала ко мне несколько раз с этой первой «булькой», и помню, что несколько раз мы спали все трое на полу в моей «жилой» комнате, она же кухня и гостиная...

Как бы там ни было, тюрьма была позади, лагерь позади, верная, но повзрослевшая подруга явилась жить со мною в «убитую» квартиру в Сырах. Довольно долго еще она продолжала привозить из квартиры родителей (я давал машину) наши с ней дотюремные вещи. Большая часть вещей пропала, в том числе и многие мои книги, но часть сохранилась... Ах да, я позабыл сообщить, что в появлении последнего по времени ее бультерьера в квартире в Сырах был повинен именно я. Когда в апреле она пришла ко мне на свидание в Саратовскую центральную тюрьму, она через стекло попросила разрешения завести собаку.

— Какую собаку ты хочешь? — спросил я.

— Буля, — сказала она и вздрогнула ресничками.

Я ей разрешил. И даже дал будущей собаке имя: Шмон, что по-тюремному значит «обыск». Потому что прокурор как раз тогда запросил мне срок: четырнадцать лет строгого режима, и я предполагал, что, прежде чем я выйду на свободу, бультерьер успеет прожить всю свою жизнь

бойцовой собаки и благополучно отойдет в мир иной. Либо я не выйду из-за решетки — человек моего возраста рискует при таком сроке, что его вынесут ногами вперед... А случилось все иначе. Судья счел недоказанными обвинения по трем статьям и приговорил меня к четырем годам, а уже через полгода я вышел на свободу условно-досрочно, так как больше половины срока отсидел уже в тюрьмах. И мы встретились. Бело-розовый, тугой, как мешок с песком, мускулистая свинья с мощными клыками, и я. И стали игнорировать друг друга.

Я определил ему место в нише в длинном коридоре. Мы положили туда несколько диванных подушек, оставшихся после предыдущих жильцов, и он там подремывал, когда не бродил молча, топоча твердыми ногами по квартире. Судя по всему, у него был не злой, но тупой и медленный разум боевого животного, опасный уже тем, что был медленным. Медленность эта не оставляла никакой надежды на то, что, однажды сомкнув челюсти на твоём горле, он разомкнет их. Он никогда не лаял, несмотря на то, что за стеной, в соседней квартире, жила и изнуряюще тывкала мелкая скверная черная собачонка. Он как бы даже и не слышал ее истерик (а она отвечала лаем на малейший шум в подъезде, на лестнице и на улице; она лаяла даже на поезда вдали на эстакаде, ведущей к Курскому вокзалу!), из чего я сделал умозаключение, что он не понимает ее собачьего языка совсем. У него был другой язык. Если его что-то беспокоило, он издавал хриплый внутренний гул, храп такой, как правило, короткий, как внезапно закипевшая кастрюля.

В первую же ночь он полез к нам в постель. Потому что она приучила его щенком, пока я сидел в неволе, спать у нее в ногах. «Шмон! На место! — сквозь сон вскрикнула она. — На место!» Результата не последовало. Вонючее животное влезло на нас и стало бесцеремонно расхаживать по нашим